



УДК 81'27
ББК 81.001.2

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ИДЕОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ XVIII ВЕКА

С.Б. Калашиников

Статья посвящена вопросам взаимодействия лингвистических теорий XVIII в. и государственной идеологии послепетровского времени. Автор выявляет механизмы создания социокультурной целостности на основе сопоставления лингвистических программ В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоносова и А.Н. Радищева и модели сакрализации власти монарха в России. Показано, что идея строгого подчинения окраин центру, ритуализация и регламентация социальной жизни становятся конструктивным принципом создания теории единого национального языка.

Ключевые слова: русский литературный язык, лингвистические теории, власть, идеология, модель, единство, целостность.

Любая языковая реформа возникает как реакция на смену государственного культа. Окончательная стабилизация языковой нормы оказывается возможна только при установлении имперской формы правления, при построении жесткой иерархии государственной власти, в основе которой лежит идея строгого подчинения окраин центру. В русской истории XVIII в. становление этой модели способствовало созданию теории единого национального языка.

Безусловно, новая идея российской власти связана с периодом правления и личной государственной деятельностью Петра Великого. «Государственная служба, – отмечает Ю.М. Лотман, – приобретала для Петра почти религиозное значение грандиозной, непрерывной литургии в храме Государства. Работа была его молитвой» [2, с. 20]. Это высказывание как нельзя лучше передает не только свойства петровского темперамента, но и выражает сущность всей государственной идеологии того времени – идеологии, в которой служение государству приравнивалось к религиозному культу, некоему ритуально-ми-

фологическому действию. Причем Петр I всячески стимулировал чувство государственности у подданных – и своим личным примером, и целым рядом законодательных актов, в частности указом 1718 г. об обязательном проведении ассамблей. Культ же этот действительно приобретал специфические ритуальные формы, в центре которых неизбежно находилась фигура монарха. Об этом свидетельствует личное участие государя в различных сферах государственной жизни, начиная от строительства флота и заканчивая реформой русской азбуки.

Новый государственный культ приобретает ритуализованную форму с целью сплочения участников нового сообщества. Всякий культурный ритуал призван выработать идеологию целостности, основанную на общем для всех его участников понимании сущности этого единства. В рамках подобного ритуального взаимодействия особую функцию выполняет именование членов сообщества как способ явленности некоей сущности через словесный символ. Имя в ходе ритуала призвано регламентировать положение человека в пространстве и времени данной культуры, причем в месте совершения ритуала происходит буквальная (первичная) регуляция социальных функций: все присутствующие вовлечены в

обрядовое действие и каждый в рамках целого играет строго отведенную роль. Цель первичной регуляции заключается в том, чтобы структурировать определенным образом межчеловеческие связи непосредственно *внутри* самого ритуального пространства. Вторичная регуляция предполагает сохранение «ритуального амплуа» за пределами культового места. И такая регуляция сообщества осуществляется прежде всего во времени, организуя ритмы социальной жизни по аналогии с ритмом самого ритуала.

Петр создает хорошо дифференцированную целостность, многоуровневая система которой должна была быть пронизана множеством иерархических связей. Символом-моделью этой целостности становится Петровская «Табель о рангах», определяющая положение всякого служащего в структуре государственного механизма. Сама идея «регулярности» наиболее отчетливо выразилась именно в этом документе. Функциональный подход к регламентации чинов и званий в «Табели» заключался, как известно, в том, что «служилые» люди должны были «занимать должности по своим способностям и по своему реальному вкладу в государственное дело» [2, с. 23]. Таким образом, функция «Табели» заключается в репрезентации ритуально-мифологического комплекса, структурирующего сообщество посредством титуляции его членов¹.

Унификация всех сфер государственной жизни (а в эту эпоху любая сфера жизни является государственной, понятие «частная жизнь» сформируется много позже) воспринималась как универсальная регламентирующая модель для любой из сфер социальной активности, будь то служба в армии и канцелярии или поэзия и наука. Идея порядка, безусловно, воплотилась в образе административной столицы – Петербурга, которая символизировала собой регламентацию высшего государственного уровня. Правильность и точность архитектурных пропорций должна была соответствовать логически обоснованной, иерархически выстроенной структуре власти и общества.

Порядок как некая последовательность, очередность культурных (культовых, ритуальных) действий выразался не только в служеб-

но-иерархическом поведении, но и в образе мысли и жизни человека того времени, в лингвистических полемиках, литературных теориях и даже в тенденциях моды². Русская культура XVIII в. вообще обнаруживает уникальное стремление к созданию моделей единства в самых различных сферах жизни и отраслях знаний. Даже реформа русского стихосложения, осуществленная В.К. Третьяковым и М.В. Ломоносовым, содержит в себе этот социокультурный подтекст: унификация двух систем стихосложения – силлабической (заимствованной) и тонической (исконной) – тоже может рассматриваться как попытка создания некоей целостности, уподобляющейся по своим функциональным свойствам целостности государственного масштаба. Эта же тенденция, в частности, проявляется в художественной и декларативной практике А.П. Сумарокова, которая строится на стремлении представить *всю* сферу поэзии как единое, управляемое одними и теми же законами *государство*. Этот эстетический абсолютизм рассматривал и каждый отдельный текст, и всю «империю» поэзии в целом в свете единства художественных норм, что не исключало разнообразия форм и жанров, но подразумевало наличие общей иерархии, подчиненность некоторым высшим единым структурным принципам и, следовательно, возможность единообразного описания разнообразных явлений художественного мира³.

После смерти Петра I, когда средств для мифологизации его власти оказывается недостаточно, литература – главный культурный медиатор этой эпохи – обращается к лингвистическим ресурсам многовековой «священной» традиции церковнославянской письменности. Еще при жизни *первого* императора официальная власть получила в лице Феофана Прокоповича *своего* первого мифологизатора и освяителя церковнославянской традиции. Это свидетельствует о том, что гражданский культ государя и сакрализация его светской власти даже на стадии становления новой модели государственного единства нуждались не только в ритуализации общественной жизни наподобие церковной, но и в литературной традиции на гражданском языке и в самом этом гражданском языке. Тем силь-

нее эта необходимость ощущалась после смерти Петра I.

Язык в своей первичной функции является не столько средством общения, сколько способом структурирования действительности. В основе всякого грамматического учения лежит аристотелевский принцип метафизической формализации бытия⁴, то есть теория единого языка способствует дефрагментации реальности путем установления между ее относительно обособленными единицами внутрисистемных иерархических связей. Также язык выполняет и сходную функцию структурирования межчеловеческих отношений в «качестве некоторой надындивидуальной среды человеческой жизнедеятельности» [3, с. 246].

Первоначально эту функцию регуляции сообщества вне времени и вне пространства авторы XVIII столетия пытаются приписать церковнославянскому языку. Обращения к нему поэтов той эпохи осуществляются с разной целью, но неоспоримо одно: каждый из них почитает традицию употребления этого архаичного языка «священной» и стремится освятить его авторитетностью систему своих государственных или общественных представлений, считая ее единственно верной. При этом предполагается, как и в древнерусской традиции, что сам способ выражения обеспечивает правильность содержания [4, с. 27]. Поэтому, например, М.В. Ломоносов в «Риторике» сосредоточивает внимание именно на различных способах выражения, правильное (грамотное) использование которых обеспечивает тексту «благочестие» и «высокое содержание». Этим объясняется и ожесточенность «лингвистических баталий» (Б.А. Успенский), и само напряжение всей идеологической жизни России XVIII в., поскольку лингвистическая полемика воспринимается как попытка определения наиболее эффективного способа социальной регуляции общества вне времени и пространства. Иначе говоря, язык, особенно *единый государственный язык*, метафорически уподобляется единому государственному телу и выполняет особую социокультурную функцию структурирования межчеловеческих связей внутри этой государственной целостности. Он должен охватить собой все сферы, в которые проникло влияние государ-

ства, и быть в них функциональным. Структура общенационального языка, таким образом, должна обеспечивать систематическое воспроизведение социокультурной структуры.

Если «Табель о рангах» устанавливала зависимость общественного положения человека от его места в служебной иерархии, то «Грамматика» Ломоносова устанавливала зависимость между лексической единицей и ее функцией в контексте. Исходная модель этих отношений одна и та же: степень значимости и достоинства элемента (*государственного служащего и слова*) определяется не его положением в отвлеченно-идеальной схеме, но его действительными заслугами (стилевой функцией внутри некоей целостности – социальной или текстовой)⁵. Именно на основе кодификации элементов по *функции* выстраивается и служебная иерархия чинов, и грамматическая (жанрово-стилевая) парадигма. В этом смысле «Грамматика» Ломоносова претендует на то, чтобы стать матрицей этих представлений и задает модель целостности для соответствующей человеческой группы, причем целостности, носящей надпространственный и вневременной характер. В этом учении стирается оппозиция профанного (разговорного) и сакрального (церковнославянского) языка, то есть создаются предпосылки для дальнейшего развития *единого* национального языка, который должен был способствовать дефрагментации реальности путем установления между ее относительно обособленными единицами внутрисистемных иерархических связей. Взаимоотношения языка как целого и его частей, таким образом, соответствуют модели новой государственной идеологии, построенной на многоуровневости и иерархичности внутренних связей.

Исходя из этих представлений «государственный» человек XVIII в. любое лингвистическое учение воспринимает не столько как научное, сколько как общенациональное, обладающее повышенной социокультурной значимостью и содержащее в себе определенный политический подтекст: всякая теория языка или его практическая реализация в определенной жанрово-стилевой традиции соответствует определенной модели государственного устройства. Причем для того, чтобы реконструировать это соответствие, вов-

се не обязательно было выискивать в произведениях писателя систематическую языковую теорию, поскольку в сознании человека XVIII в. под «теорией» понималась не только система эксплицитно выраженных абстрактных норм, но и не получившая законченного выражения и не сведенная воедино система представлений, если она отразилась в представленном круге текстов и определила исторически значимую художественную практику [2, с. 160].

Противопоставление «старых» и «новых» форм государственного и общественного быта в России петровского и послепетровского времени предельно заостряет противопоставление церковнославянского языка, то есть книжного и обслуживающего религиозный культ, языку разговорному, то есть светскому и нелитературному. Такое восприятие церковнославянско-русской диглоссии сложилось на основе особого средневекового мировоззрения, в котором мир представлялся книгой, то есть текстом, воплощающим в себе Божественный смысл: «Символом мира, – отмечает Б.А. Успенский, – является книга, а не система правил, текст, а не модель. Вместе с тем грамматика – это именно модель мира; как всякая модель, она позволяет порождать тексты, наполненные новым смыслом, в том числе и тексты, заведомо ложные по своему содержанию» [5, с. 17].

Правила грамматики как таковые, с точки зрения древнерусских книжников, позволяют манипулировать смыслом и тем самым моделировать реальность [5, с. 17]. Необходимость грамматик в петровское время в 30-е – 40-е гг. XVIII столетия возникает вследствие принципиально новой мировоззренческой установки: создания нецерковных служебных текстов нового содержания для обоснования нового государственного культа, для моделирования иной культурной идеологии и социальной реальности. Поэтому создание нормативных грамматик воспринимается как кодификация языка в рамках унификации нового государственного строя. Не случайно расцвет грамматических учений в России приходится на вторую треть XVIII в., когда идет интенсивный процесс освоения европейских моделей светской государственности, а также сакрализация монархической власти.

Еще во второй половине XVII в. такое отношение к языку и его кодификации вообще было невозможно, поскольку он выполнял совершенно иную культурную функцию в принципиально другой системе отношения к *власти*: власть освещалась авторитетом церкви, поэтому государственным являлся церковнославянский язык. Если отказ от «внешней мудрости» представляется логичным и естественным в допетровскую эпоху, то в петровский и особенно послепетровский периоды именно «внешняя мудрость», в частности грамматика и риторика, явно ориентированные по своей структуре описаний на европейские образцы, начинают выполнять моделирующую функцию новой культуры. При этом иерархия грамматических форм и жанрово-стилевая парадигма начинают восприниматься в постоянном соотношении со структурой государственного устройства.

Отмена Петром I института патриаршества и ориентация на западноевропейскую государственную модель прямым образом повлияли на языковую политику империи. Целый ряд последовательно проведенных реформ был связан с вытеснением церковнославянского языка из сферы государственного и даже церковного культа. Часть из них была осуществлена еще при жизни государя, часть – после его смерти. Так, в 1708–1710 гг. Петр I принимает личное и непосредственное участие в работе по определению формы новых букв, считая это делом первостепенной *государственной* важности. Явная ориентация гражданского шрифта, с одной стороны, на скоропись, а с другой – ее приближение к латинице (отсутствие просодических знаков и устранение кириллических элементов литер), прочно утвердила новую графику как государственную и означала оппозиционность церковнославянскому началу и вместе с тем декларировала принципиальную открытость русского языка для иностранных культурных влияний [4, с. 117]. Таким образом, противопоставление церковного и гражданского шрифта функционально означает не только противоположность церковнославянского и русского языка, но и принципиальную противоположность тех государственных моделей, которые ими обслуживались. Каждый тип графики связывается не только с определенным типом тек-

стов, но и с определенной моделью государственного политического устройства.

Так, тенденция к демократизации языка означает ориентацию на демократизацию политической системы. И если ранний В.К. Тредиаковский в качестве основы национального языка рассматривает разговорную речь высшего сословия, то это означает его приверженность аристократической монархии как модели политического устройства. Лингвистическая идеология Тредиаковского в 30-е гг. XVIII столетия имеет явно выраженный экспериментальный характер, поскольку русская языковая ситуация мыслится по модели западноевропейской. Ориентация Тредиаковского на разговорную русскую речь связана с ее оппозиционным статусом по отношению к речи письменной, то есть церковнославянскому языку. По мысли Тредиаковского, «русский язык должен следовать примеру французского, которому удалось утвердиться в качестве национального языка в самых разных областях культуры» [4, с. 128]. Предпочтение в этой реформе отдается языку высшего сословия и придворного окружения, поскольку таким способом *власть* освящала авторитетной традицией язык (а не наоборот, как это было в традиции древнерусской книжности, где авторитетность языка освящала модель власти): «Украшит оной [наш язык] в нас двор Ея Величества в слове научтивейшей, и богатством наивеликолепнейшей. Научат нас искусно им говорить благоразумнейшия Ея Министры и премудрейшия Священноначальники, из которых многие, вам и мне известные, у нас таковы, что нам за господствующее правило можно бы их взять было в Грамматику...» [там же, с. 129].

Отсутствие в России особого социального диалекта светского общества делало эту реформу практически неосуществимой, однако следует учитывать при ее рассмотрении специфические культурные факторы: реформа Тредиаковского сначала провозглашает необходимость нового литературного языка и лишь затем предполагает, что на нем начнет говорить культурная элита. Все эти декларации осуществляются при полном отсутствии кодификации этого языка. В европейских странах, в частности, во Франции, процесс становления литературного языка проходит эти ста-

дии в естественной последовательности: сначала появляется особый социальный диалект образованной части общества, затем происходит его кодификация и лишь после того, как этот диалект признается образцовым, возникает литературный язык. Языковая реформа Тредиаковского хорошо вписывается в модель заимствований, в целом характерных для эпохи: сначала в русской культуре возникает новая реалья, и лишь затем – соответствующий ей культурный контекст: «Если в обычной ситуации тексты возникают в некотором контексте, мотивирующем их появление, то в данном случае, наоборот, – пишет Б.А. Успенский, – создание текста предшествует возникновению соответствующего контекста» [4, с. 131]. С точки зрения социокультурного политического кода эта экспериментальная лингвистическая теория означает, что Тредиаковский декларирует *идею* аристократической монархии, при которой высокообразованное светское меньшинство влияет на принятие политических решений государем. Таким образом, новой политической реальности, которая воспринималась в 30-е гг. XVIII столетия именно как демократическая, еще только предстояло окружить себя соответствующим государственным контекстом.

Экспериментальность такого механизма заимствований в том и заключалась, чтобы искусственным путем создать литературные, культурные и политические прецеденты, которые бы стимулировали появление соответствующей культурной среды. Переводческая практика Тредиаковского, равно как и его художественные опыты и теоретические построения, вписываются, таким образом, в модель европеизации русской культуры и отражают приоритетные направления государственной идеологии.

Однако по мере необходимой сакрализации государственной власти характер отношений между культурой и официальной идеологией существенно изменился. Если в первой трети XVIII в. власть в лице первого императора освещала, зачастую насильственно, своим авторитетом европеизацию страны, то уже во второй половине столетия начался обратный процесс: авторитетная многовековая древнерусская традиция распространяла свой сакральный статус на государ-

ственную власть, причем именно через светскую культуру. Мифологизация петровской эпохи после смерти самого Петра осуществляется с явной ориентацией на культурные модели допетровской Руси, поскольку западноевропейские оказались не столько исчерпанными, сколько неадекватными той системе *государственного* устройства, которая утвердилась в России. Власть создала такой прецедент, который не находил аналогов в европейской истории.

Противоречие в теории Третьяковского сразу же обнаружилось при обращении к художественной практике: «Ориентация на разговорную речь гораздо более естественно и последовательно может осуществляться в прозе, а не в стихах; поэтическая речь по самой своей природе противопоставлена разговорной речи, и поэтому здесь могут допускаться условности высокого стиля, то есть может делаться отступление в пользу предшествующей (церковнославянской) литературной традиции – постольку, поскольку это книжная традиция, противостоящая разговорному началу в языке» [4, с. 133]. Поэтому Третьяковский признает необходимость употребления славянизмов в качестве специальных поэтических средств выражения в случае высокого, торжественного содержания. Иначе говоря, он понимает, что за этими средствами стоят определенные оценочные модели, однако связаны они с языком не напрямую, а через категорию жанра.

Языковая программа зрелого Третьяковского основана на восприятии литературного языка как единства церковнославянского и разговорного русского. Они имеют одну природу, что «обуславливает возможность объединения в языковом сознании славянизмов и архаических русизмов» [там же, с. 139]. Любопытно, что эта лингвистическая идеология в полной мере соответствует идеологии государственной, в которой царь рассматривается одновременно и как светский, и как церковный владыка. Это значит, что его культ может поддерживаться обеими литературными традициями. Как патриарх, он сакрализуется в соответствии с регламентом церковнославянских текстов, а как император – в соответствии с порядком нового гражданского культа. *Единоприродность церковнославян-*

ского и русского языков, таким образом, символически соотносится с единоприродностью государственной власти. Показательно, что уникальность этой языковой и политической модели поздним Третьяковским хорошо осознается.

Например, в предисловии к «Телемахиде» он настойчиво подчеркивает преимущества русского языка по сравнению с французским (что в ранней деятельности Третьяковского было вообще невозможно, поскольку русский язык по многим важным характеристикам уподоблялся французскому): «Природа ему даровала все изобилие и сладость языка того Еллинского, а всю важность и сановность Латинского. На чтож не претерпевать добровольно скудость и тесноту Французскую, имеющим всенародное богатство и пространство Славенороссийское» [4, с. 138]. «Пространство Словенороссийское» в данном контексте может восприниматься и как политическая метафора государственного тела, границы которого определяются ареалом распространения национального языка.

Если в эволюции языковой концепции Третьяковского оказались заложены «экстремальные возможности» русского языка, то Ломоносов осуществляет попытку не только их примирения, но и попытку выработать лингвистическую теорию, адекватную новой государственной идеологии. Итогом его работы становится вывод о том, что «русский литературный язык содержит в себе проекцию церковнославянско-русского двуязычия: отношения между языками (в рамках языковой ситуации) переносятся на отношения между стилями (в рамках литературного языка)» [там же, с. 145]. Разница в употреблении единиц разного стиля определяется контекстом, контуры которого очерчены соответствующими жанровыми параметрами. Поэтому если за определенным жанром стоит тот или иной тип мировоззрения, то он находит в теории Ломоносова свой тип стилового соответствия. Принимая во внимание то обстоятельство, что различные жанры обслуживают различные сферы общественного сознания, а их статус определяется социальным престижем, нетрудно уловить связь между стилистической дифференциацией языка и регламентом государственного устройства.

Особенно отчетливо эта связь прослеживается в жанре оды, который сам по себе стал универсальной моделью социокультурного единства и совместил в себе лингвистическую практику, теоретико-литературную полемику и государственные идеологемы. В России именно торжественная ода связывается с церковнославянской литературной традицией, что обуславливает ее ориентацию на традиции панегирика и проповеди, а также объясняет использование в ней сакральных образов и славянизацию языка. Высота одического слова прочно ассоциируется с сакральным статусом церковнославянского языка и определяет не только формальный статус поэтической речи в России XVIII в., но и статус государственной власти. В этой связи Б.А. Успенский, вслед за В.М. Живовым, отмечает, что «русская ода – в отличие от западноевропейской – всегда обращена к монарху либо к члену правящего дома и никогда – к частному лицу. Соответственно, в языке одической поэзии находит отражение процесс сакрализации монарха, особенно заметный именно в XVIII веке» [4, с. 134].

Именно одический жанр становится тем экспериментальным пространством, в контурах которого осуществляется апробация разнообразных социокультурных моделей и государственных идеологем. Такой привилегированный культурный статус этот жанр получил благодаря уникальной коммуникативной установке, как нельзя лучше соответствовавшей задаче создания моделей единства. Смысл оды раскрывался только в процессе непосредственного воздействия на аудиторию. Прагматика этого жанра состояла в социальной регуляции; в непосредственном влиянии через аудиторию на действительность путем формирования энергии общественных ожиданий и новых социальных императивов.

В этом отношении показательным является прецедент, созданный А.Н. Радищевым. Не вступая в лингвистическую полемику своего времени, не создавая никаких теоретико-литературных деклараций, не являясь даже, в отличие от Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова или Державина, сколько-нибудь профессиональным литератором, автор оды «Вольность» стал идеологически значимой фигурой второй половины XVIII века. Думается, произошло это именно потому, что бла-

годаря своей *оде* он создал новый социальный императив, идущий в разрез с официальной идеологией своего времени. Причем именно идеология Радищева определила выбор лингвистической стратегии «Вольности».

Заимствованная А.Н. Радищевым у просветителей государственная теория находит свой аналог в русской древности, то есть структурным эквивалентом «общественному договору» в оде становится народное новгородское вече. Архаизация языка для Радищева представляет собой часть политической программы: он пишет об идеале политического устройства, заимствованного из древности, на языке этой древности, совмещая элементы древнерусского языка с научной терминологией своего времени. Синтез теорий власти – просветительской и древнерусской, – совмещение современных научных знаний (теория движения материи и т. д.) с традициями допетровской Руси приводит к осознанно избранной стилистической стратегии. Этим же соответствием лингвистической концепции и теории демократической власти объясняется постоянное смещение в произведениях Радищева евангельских цитат и просветительских формул. Стилистическая программа знаменует здесь языковой плюрализм, равно как и политическая идеология автора строится на демократизме, то есть в буквальном смысле – народовластию.

У Радищева выбор языкового кода осмысливается не как эстетическая, но как идеологическая задача. У него распад официальной государственной идеологии передается в том числе и через распад единого государственного языка: там, где есть отдельные государственные образования, перестает выполнять свои социокультурные функции единый литературный язык. Если авторитарность власти передается через кодификацию и унификацию литературного языка, то ее дискредитация должна передаваться разрушением официальной лингвистической нормы.

Не до конца проясненным остается вопрос о своеобразной стилистической полемике Радищева с Ломоносовым. Затрудненная и форсированная манера речи, избранная автором «Вольности», носит до известной степени намеренный характер. Радищев сам указывал на художественные недочеты своей

оды: «смысл в стихах неясен, и много стихов топорной работы». Но поэт сознательно стремился, как он сам признается, в противовес величавой гладкости од Ломоносова и поэтов его школы, «разодрать» у своих читателей «нервы осязательности». Для самого Радищева, вполне вероятно, этот вопрос лингвистических и выразительных предпочтений выходил за пределы сугубо стилистического противостояния и знаменовал собой потенциальное расхождение мировоззренческих позиций.

Если красноречие Ломоносова и рекомендации к составлению од обслуживают новый гражданский культ монарха и сакрализации его власти, то его «гладкопись» преодолевается Радищевым ради десакрализации этого нового культа. При этом он предлагает свою стилистическую программу, соответствующую, в его представлениях, древнерусской, именно новгородской республиканской форме политического устройства. Идея демократизации власти передается у него через программу создания единого гражданского языка на основе его разговорной разновидности, бытовавшей в допетровской Руси.

Таким образом, взаимодействие лингвистических теорий XVIII в. и государственной идеологии послепетровского времени осуществляется в рамках становления новой модели власти, основанной на сакрализации власти монарха. Механизмы создания социокультурной целостности в послепетровской России носят всеобщий и универсальный характер и функционируют в самых разных сферах жизни. Способствуют этому лингвистические учения раннего и позднего Тредиаковского, языковая реформа Ломоносова, а также художественная практика Радищева, представляющая собой альтернативный вариант модели социокультурной целостности. Однако в конечном итоге именно идея строгого подчинения окраин центру, ритуализация и регламентация социальной жизни становятся конструктивным принципом создания единого национального языка.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Как отмечает А.И. Пигалев, «первые имена не были простыми “метками” в современном смысле, это были, скорее, титулы – “вождь”, “знахарь”, “воин” и т. д.: ведь только “титулы” в своей

совокупности задают социальную структуру. Прочность имен обеспечивается именно тем, что они воспроизводят первичную структуру рода, созданную в ритуальном танце, в промежутках между его исполнением» [3, с. 247]. Далее исследователь продолжает: «Вещью (в нашем случае – действительным членом сообщества. – С. К.), имеющей имя, могло стать лишь то, что позволяло структурировать межчеловеческие отношения, тогда как все прочее просто выпадает из поля зрения» [там же].

² Так, знаменитый указ 1700 г., изданный Петром, предписывал «всех чинов людям» брить бороды, носить немецкое и венгерское платье по будням и французское – по праздникам. Эти указы распространялись на все сословия, кроме духовенства, извозчиков и пахотных крестьян (именно эти сословия не подвергались титуляции в «Табели о рангах»). Систематическое ношение мундира, равно как и бритье бороды у «служилых» людей, также является составным элементом общегосударственной унификации служащих. мода становится делом государственной важности и представляет собой еще один способ поддержания идеи иерархически организованной целостности. Более того, определенная согласованность деталей костюма становилась не столько основным способом самовыражения личности, сколько демонстрацией своих политических пристрастий. Например, увлечение европейской модой, как отмечает О. Вайнштейн, непосредственно увязывалось в российском менталитете с западной идеологией [1, с. 489]. Поэтому любая смена власти в России XVIII в. сопровождалась регламентацией моды «сверху» исключительно по политическим соображениям. Так, Павел I в первые же дни своего царствования в 1796 г. издал специальные указы против современного европейского платья, поскольку оно символизировало для него либеральные идеи Французской революции [там же].

³ «Сумароков, – пишет Ю.М. Лотман, – не стремился к однообразию. Отводя себе роль вождя русского Парнаса, он ставил перед собой задачу дать образцы всех “правильных” видов творчества. Однако все эти произведения и все жанры, эталоны которых он стремился создать, складывались в его сознании в единую систему с упорядоченной структурой взаимных отношений» [2, с. 165].

⁴ А.И. Пигалев комментирует это так: «Принципиально важно, что соответствующие термины, обозначающие различные части речи, возникли в качестве довольно позднего продукта грамматических учений. В европейской традиции они опираются на метафизическую формализацию бытия, на систему категорий, впервые четко представленную именно Аристотелем, а затем через посредство латинского языка в дополненном виде вошедшую в

плоть и кровь культуры (субъект, объект, предикат, субстанция, акциденция и т. д.) [3, с. 234].

⁵ Как отмечает Ю.М. Лотман, «первоначальной идеей Петра и было стремление привести в соответствие должность и оказываемый почет, а должности распределять в зависимости от личных заслуг перед государством и способностей, а не от знатности рода» [2, с. 23].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вайнштейн, О. Б. Денди: мода, литература, стиль жизни / О. Б. Вайнштейн. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Новое лит. обозрение, 2006. – 640 с.

2. Лотман, Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века) / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство, 1996. – 399 с.

3. Пигалев, А. И. Культура как целостность: (Методологические аспекты) / А. И. Пигалев. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2001. – 464 с.

4. Успенский, Б. А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.) / Б. А. Успенский. – М. : Гнозис, 1994. – 240 с.

5. Успенский, Б. А. Отношение к грамматике и риторике в Древней Руси / Б. А. Успенский // Избранные труды. В 3 т. Т. II. Труды по языкознанию / Б. А. Успенский. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Шк. «Яз. рус. культуры», 1996. – С. 5–28.

LINGUISTIC THEORY AND THE GOVERNMENT IDEOLOGY IN THE RUSSIAN CULTURE OF THE 18th CENTURY

S.B. Kalashnikov

The article is devoted to the connection between linguistic theories of the 18th century and the national ideology of the Peter the Great's time. The author reveals the mechanisms of socio-cultural integrity creation on the basis of comparative analysis of the linguistic programmes of V.K. Trediakovsky, M.V. Lomonosov and A.N. Radishchev, and the power of a monarch sanctity models in Russia. The ideas of strict centre-periphery subordination, ritual construction and social life regulation become the basis for the principle of the uniform national language creation.

Key words: Russian literary language, linguistic theories, power, ideology, model, unity, integrity.